

# Русистика и война с Россией: синдром Карре

Владимир Звоняцковский

(Мариуполь, Украина; Брно, Чешская Республика)

«Всё понять — значит всё простить? Не уверен. Существует ещё то, что я называю «познавательной брезгливостью», [...] — состояние, при котором человеку достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное отвращение к нему (а отнюдь не примирённость).»

Томас Манн, «Тонио Крёгер» (перевод Н. Манн)

## Предисловие, или Кто такой Карре?

Французский писатель и литературовед Жан-Мари Карре (1887–1958) родился в Арденнском департаменте и на протяжении всей жизни хранил с ним духовную связь [CARRÉ s. a.].

Арденны — романо-германский перешеек, один из многих европейских культурных перекрёстков. Естественный интерес к немецкому языку и культуре обусловил ранний выбор профессии, оказавшейся востребованной. Переводчик генштаба во время 1-й и участник Сопrotивления во время 2-й мировых войн, проф. Карре, разумеется, отдавал себе отчёт в том, что, как ныне учат в европейских школах, между гуманизмом немецкой культуры и немецким милитаризмом/нацизмом существует «огромная и непостижимая» разница. Но, постигая свой предмет в истории, в теории и на практике, Карре пришёл к выводу, что разница эта не так уж огромна и не так уж непостижима. Своими наблюдениями он поделился в книге «Французские писатели и немецкий мираж. 1800–1940» [CARRÉ 1947], которая во Франции и за её пределами произвела эффект последней разорвавшейся бомбы 2-й мировой войны.

Согласно выкладкам Карре, с самого начала XIX в., и особенно с выходом в свет 2-го (1813) издания книги «О Германии» (*De l'Allemagne*) Ж. де Сталь (1-е сожжено в 1810 г. по приказу Наполеона), гуманизм немецкой культуры

стал «миражом» французской литературы, заменившим реальность читающей публике — а это во 2-й половине XIX и в 1-й половине XX вв. едва ли не большинство французов: «Мы всегда живём первым впечатлением» [CARRÉ 1947, XI]. И, не умея расстаться с этим впечатлением о «Германии Гёте и Бетховена» даже во франко-прусскую войну («Седан тут помог не более, чем Ватерлоо»), французские интеллектуалы совершают нечто «столь же опасное»: они решают, что существует не одна, а «две Германии» [CARRÉ 1947, XII].

Между тем, как убедительно на многих фактах показал Карре, Германия была достаточно едина в своей «германской идее», т. е. в главном векторе своего развития от начала XIX и до середины XX в., хотя во всём остальном быстро менялась. Страна, которую видела мадам де Сталь в 1802 г., когда общалась там с Гёте, Шиллером и Фихте, не оставалась той же самой ни в 1807–1808 гг., когда она в Швейцарии писала свою книгу, ни тем более в 1813 г., когда с этой книгой познакомилась французская публика, усвоив себе, на фоне национального унижения (падения недолговечной империи Наполеона), то впечатление о соседней стране, которым французы жили потом без малого полтора века. Жили несмотря даже на то, что уже и в 1813 г. мадам де Сталь рассказала им о несуществующем как о существующем — сказку, принятую за вечную и неизменную правду.

Другой пример. Вагнерианско-ницшеанский дискурс 1880–1890-х, казалось бы, явился столь откровенной спекуляцией на прусских военных победах и столь явной заявкой на расширение «территории побед» в будущем (допустим даже, что «чисто духовных»), что французским интеллектуалам надо было обладать очень сильно развитым комплексом жертвы, дабы испытывать восхищение зигфридами и заратустрами. Но они его испытывали и тогда, и даже после 1-й мировой, полагая, что, помогая «униженной Германии» сохранить лицо и встать с колен, они делают это во имя неких общеевропейских ценностей.

Понадобилась 2-я мировая, дабы механизм европейской культуры заработал в обратном направлении. Неполноту Европы без Германии европейцы стали теперь артикулировать не в виде уговаривания самих себя «понять Германию», а в виде категорического требования к нации, оболваненной Гитлером и Геббельсом, снова стать европейской. Это требование было сформулировано на основании синдрома острого, осознанного неприятия не только человеконенавистнической идеологии 3-го рейха, но и всей той этико-эстетической системы (включая элемент литературно-художественный), в рамках которой эта идеология возникла и процвела. Назовём этот синдром, по имени первого его внятного выразителя, *синдромом Карре*.

## Две новые и важные задачи русистики после 24/2/2022

Испытывая, как многие мои коллеги-русисты (в том числе и те, кому до сих пор по тем или иным причинам приходится жить в России), синдром неприятия целой культурной системы — синдром Карре, я тем не менее вижу смысл в том, чтобы продолжать заниматься научной русистикой. Но, развивая старые темы после 24/2/2022, когда нужно быть Эдипом, выколовшим себе глаза, чтобы не видеть, ЧТО именно нам принёс «народ-богоносец», мы можем воспользоваться опытом наших — в широком смысле — предшественников в изучении литературы. В частности, опытом Карре мы можем воспользоваться для решения как минимум двух задач:

1. «Русский мираж», дискурс «народа-богоносца» и «святой русской литературы», выделить и отделить как один из элементов собственно истории русской литературы, её понимания себя в мире и понимания миром её самой, и осветить пройденный путь от момента, когда «мираж» явно и громко заявил о своём существовании, до момента его зарождения.
2. «Неполноту» Европы без России восполнить не в качестве попытки понять то, что заведомо выстроено как *умом непонятное и аршином общим неизмеримое*, а в качестве дискурса *бессмысленного и беспощадного* и диалога именно о смысле «по уму», в котором — сделаем осторожное, чисто теоретическое допущение — может быть выявлен потенциал, дающий русским надежду, которой ныне большинство их не может или не хочет знать, — надежду стать современной европейской нацией.

## Чем хорошо быть русским?

Русская культура Золотого XIX в., как известно, биполярна. Есть в ней и две полярно противоположные «модели» писателя.

Первая «модель» — И. С. Тургенев. По происхождению совершенно русский: помещик, знавший русскую деревню, которую он прекрасно и точно изобразил. Предпочитал жить в Европе, ощущать себя европейским романистом, решающим общеевропейские эстетические задачи, ежемесячно обедать в обществе Флобера, Золя, Доде и Гонкура («обеда пяти»).

Вторая «модель» — Н. В. Гоголь. По происхождению не русский, выросший среди украинских «старосветских помещиков», которых он прекрасно и точно изобразил. Россию, кроме Москвы и Петербурга, видел «из окна почтовой кареты». Он тоже предпочитал жить в Европе, однако, старательно посещая города и веси, искал таких же «русских путешественников», а местных жителей как правило избегал. Остановясь в очередном европейском городе, он по целым дням не выходил из отеля — писал очередное «Выбранное письмо из переписки

с друзьями», чтобы потом объединить все эти письма в книгу, которая, по его мнению, должна была указать русскому обществу «исходы, средства и пути».

Именно украинец Гоголь (по сложившейся традиции, о которой скажу дальше) и должен был растолковать русской литературе её «идею». Современники, за некоторыми исключениями, «идею» автора не поняли. Но важно, что среди этих исключений был никто иной, как П. А. Плетнёв. Некогда правая рука Пушкина, его изобретательный литературный агент, а также крёстный отец Пасичника Рудого Панька [ZVINJACKOVSKIJ 1990], он теперь на **все** литературные игры своей молодости смотрит как на «ученический опыт». Зато *«Выбранные места из переписки с друзьями»*, по его мнению, «есть начало собственно русской литературы. [...] Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет» [*Переписка...* 1988, 271–272]. И если «со дна» значит «из начала начал», «от седой древности» и т. п., то вот наглядный тому пример: поддержку «русской идее» Гоголь ищет... у автора *«Одиссеи»*. Ибо, по мысли Гоголя, перевод Жуковского, как раз готовящийся к изданию, — очень своевременная книга: «на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства Одиссея подействует»; после чтения Гомера обратят они свои взоры на русских мужиков, и тогда «многое из времён патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесётся невидимо по лицу русской земли [курсив мой — В. З.]» [GOGOL' 1952, 244].

Но кто сказал, что есть «сродство»? Оказывается, это сказал маркиз де Кюстин [CUSTINE 1843], на которого Гоголь ссылается в другом выбранном месте из переписки: «беловласые старцы, сидящие у порогов изб своих» маркизу казались «величавыми патриархами древних библейских времён. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в такой величии, близком к патриархально-библейскому» [GOGOL' 1952, 405]. Так был изготовлен — с явным использованием описанного Карре трафарета мадам де Сталь — очередной мираж французской литературы. Только на сей раз он был положен в основание не германской идеи, а русской.

Но как же именно «разнесётся» по России «многое из времён патриархальных»? Анализируя цитированное «письмо» в контексте *«Выбранных мест»* и неопубликованных набросков к ним, Ю. В. Манн приходил к неожиданному выводу: «Разнесётся — при помощи самодержца, при его содействии» [MANN 2012, 39].

Оценим грандиозный масштаб русской идеи в гоголевском исполнении: чем быть большим современным европейцем, лучше быть здоровым патриархальным русским и начать 3-тысячелетнюю историю Европы с чистого листа, ведь

после Гомера она пошла не туда. А совершить столь решительный разворот доверено русскому самодержцу.

Достоевский, несомненно тяготевший к гоголевскому полюсу, не отставал от своей «модели» не только в упованиях, но и в активной деятельности подобного рода. В своём письме к тогда ещё будущему царю Александру III он доносил до наследника престола всё ту же мысль о «вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития, — замечал писатель, — давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими» [Aleksandr... s. a.].

Не упустим нюанс: в юности смеясь над *«Выбранными местами»* вместе с Белинским и даже угодив на каторгу именно за чтение его запрещённого *«Письма к Гоголю»*, Достоевский благоразумно умолчал о «гомеровских» мужичках, над которыми несомненно посмеялось бы и новое поколение (включая царевича). Посему из письма неясно, чем хорошо быть русскими. Ясно лишь, что существует (или должна существовать — что для автора письма одно и то же) некая русская идея и что нести эту идею в мир есть предназначение русских.

Художественное доказательство целительной силы русской идеи авторам бренда не далось, в чём тот же Гоголь честно сознавался в *«Авторской исповеди»*, так объясняя издание своей «переписки»: «Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заявить вперёд кое о чём из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения [курсив мой — В. З.]» [GOGOL' 1952, 434]. Годы спустя вместо Гоголя эту художественную задачу взялся исполнить Достоевский, пытаясь едва ли не в каждом своём романе с помощью благотворного влияния «русской идеи» исцелить «страждущих и болеющих от своего европейского совершенства».

Яркий представитель «псевдоевропейского развития» — Версилов в романе *«Подросток»*. «Это — дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунары, — говорит о нём герой-резонёр. — Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает её вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределённое, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов [...]» [DOSTOJEVSKIJ 1957, 624].

Художественный эксперимент Достоевского состоял в том, чтобы дать «цивилизатору» полную свободу (а Версилов как-то совсем невинно свободен от моральных и материальных обязательств, даже когда обе его семьи голодают),

но при этом дать ему в вечные спутники его бывшего крепостного Макара Долгорукого. «Этот Макар, — говорит Версилов, — чрезвычайно осанист собою и [...] чрезвычайно красив. Правда, стар, но «смуглолиц, высок и прям» [DOSTOJEVSKIJ 1957, 29]. И хотя цитатой из «Власа» Н. А. Некрасова Версилов пытается низвести образ Макара к стандартам модного народолюбия, параллельное портретирование его основным (наивным) повествователем заставляет вспомнить всё тех же «библейско-гомеровских» мужичков, портретированных Кюстином и досочинённых Гоголем: «Росту он был большого, широкоплеч, очень бодрого вида»; у него продолговатое лицо, «ужасно» белая борода, голубые, лучистые большие глаза... [DOSTOJEVSKIJ 1957, 49]. Вечно каламбуя по поводу ненавистного ему Тургенева, Достоевский верен себе и в «*Подростке*»: да, «отцы и дети», но ведь отцов у Аркадия Долгорукого двое, и, при отсутствии ярко выраженного внешнего конфликта, между ними разворачивается внутренний, ценностный конфликт.

Дать свободу крепостным — мечта «цивилизаторов» в 1850-е, и как раз тогда Версилов незаконно родил Аркадия с законной женой Макара и за это решил дать вольную её законному мужу. Получив свободу, Макар странствует по святым местам, неизменно возвращаясь к венчанной с ним жене; к ней же приходит умирать. Версилову, *volens-nolens*, приходится жить под одной крышей с «простым русским человеком» — «по примеру множества русских европейских цивилизаторов», скажем — Пьера Безухова. Тот тоже *volens-nolens* оказался под одной крышей с человеком подобным Макару — с Платоном Каратаевым. И вот благодатный материал для сравнения и выяснения, чем же хорошо быть русским.

На момент встречи с Платоном в душе Пьера «как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым» [TOLSTOJ 1984, 47–48]. Угостив Пьера картошкой и рассказав ему историю о том, как попал в солдаты, Платон помолился и уснул, оставив у Пьера впечатление чего-то «**русского, доброго и круглого**». «Прислушиваясь к мерному храпению Платона», Пьер «чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе» [TOLSTOJ 1984, 50].

В то, что так бывает, не верили современники автора, полагая, что он утратил «реальное чутьё и представил своего героя способным возродиться и переродиться вследствие одного лишь изменения строя мыслей в голове» [SKABIČEVSKIJ 1897, 162]. Но всё же он пытался. И если Пьера в Платоне всё привлекает, вплоть до храпа и запаха пота, то Версилова в Макаре всё раздражает, даже (и особенно) после того, как тот, прожив жизнь праведника, смертью праведника умирает.

На словах столь приверженный русской идее, Достоевский как художник не смог явить образчик благотворного её влияния: если не идеологического, так хоть интуитивного, «русского, доброго и круглого». Он всегда лишь обещает читателю (обычно в финале) историю «обновления» героя, «перерождения» его, «перехода из одного мира в другой»: все три обещания с одним и тем же эпитетом «*постепенного*» (а не внезапного, как в случае Пьера) есть в «*Преступлении и наказании*». То же в «*Подростке*»: Аркадий, за душу которого на протяжении всего романа вели подспудную борьбу его отцы, в итоге отделяется фразой: «Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается» [DOSTOJEVSKIJ 1957, 619].

На этих примерах хорошо видно, что Достоевский ни в какое «обновление европейского цивилизатора», ни резкое, ни постепенное, не верит. Многие объясняет монолог Версилова, прочитавшего только что изданную «*Войну и мир*» (этот монолог не вошёл в окончательный текст «*Подростка*»):

— Он [Толстой — В. З.] психолог дворянской души. Но главное в том, что дано как неоспоримое [...] Есть дети, [...] уж с детства начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установившихся форм и родового предания. Эти должны завидовать моему писателю [т. е. Толстому. — В. З.], завидовать его героям и пожалуй не любить их.

А вот и причина нелюбви:

— В высших типах своих историк [т. е. опять же Толстой. — В. З.] выставляет с тонкостью и остроумием именно *перевоплощение европейских идей в лицах русского дворянства* [курсив мой — В. З.]: тут и масоны, тут и перевоплощение пушкинского Сильвио, взятого из Байрона, тут и зачатки декабристов. [DOSTOJEVSKIJ 1957, 642–643].

Тут нет только русской идеи. Весь духовный опыт Толстого, вся его понятная логика свидетельствуют о том, что этот писатель, воспитанный на семейных преданиях русской аристократии и будучи действительно «психологом дворянской души», признаёт губительность для этой души двух присущих ей качеств — высокомерия и самомнения. Достоевскому же, судя по его *слишком* откровенному (и потому неизданному) монологу, в этом случае остаётся лишь завидовать.

У него иной background: «самый петербургский писатель» происходил сразу из двух противоположных Петербургу стихий: по матери из московской купеческой среды, а по отцу из семьи украинского священника. Отец писателя должен был заново добиваться звания потомственного дворянина, хоть на самом деле мог бы гордиться родовитостью даже среди московских боярских родов. Ведь род Достоевских пополнил литовскую шляхту в 1506 г., когда предок

писателя Данило Иртыщевич получил от пинского князя грамоту на владенье белорусским селом Достоевом. А Пётр Достоевский, его потомок, в 1598 г. был избран в сейм и занимал должности маршала Пинского уезда и члена Главного трибунала Великого княжества Литовского. Но Брестской унии Достоевские не приняли и были вытеснены из полонизированной литовско-белорусской шляхты в духовное сословие. (То же самое, по версии А. Д. Гоголя-Яновского, деда Н. В. Гоголя, произошло в то же самое время с родом Гоголей.) Далее мы уже видим Достоевских в Украине: в XVII в. иеромонахом Киево-Печерской лавры был некто Акиндий Достоевский, и он же был автором не дошедшей до потомков буколической поэмы.

### Имперская нация и «киевский дух»

«[...]«Киевский дух был одним из слагающих и роковым фактором в русской духовной среде», — писал Г. В. Флоровский в 1927 г. [MARČENKO 2012, 129] и позднее уточнял свою мысль, говоря о киевском «богословском барокко» в *«Путиях русского богословия»*: «[...] ведь барокко в целом есть именно упадочническая и нетворческая эпоха. [...] От этого украинского барокко идёт [...] эмоциональная нетрезвость, мечтательная возбудимость, какая-то своеобразная религиозная романтика» [FLOROVSKIJ 1937, 52, 56]. Именно эта философско-богословская школа была призвана в XVII в. сформулировать идею русской нации, и дело не только в «религиозной романтике».

Вспомним: ведь это исторический момент формирования наций. Средневековая **религиозная** идентичность, повлекшая за собой религиозные войны, постепенно, посреди тех безысходных войн, сменяется **национальной** идентичностью. Кардинал Ришелье заявляет: ему (католическому кардиналу!) неважно, кто католик и кто гугенот, а важно, кто француз. Гетман Сагайдачный записывает Войско Запорожское в Киевское духовное братство. Отцы-пилигримы заключают «Мэйфлауэрский договор», формулируя цели новой (хоть изначально религиозной) общины переселенцев в Новую Англию. В этом контексте даже Брестская уния 1596 г. могла бы сойти за Нантский эдикт для бедных, если бы не сопровождалась имперской военной экспансией Речи Посполитой.

Именно представители украинского и белорусского православного духовенства, не находившие себе места в Речи Посполитой в условиях агрессивной реализации Брестской унии, убедили московского царя «исполнить миссию» и «принять братьев». Таким образом, миф об особой миссии России — уберечь от «тлетворного западного влияния» как можно больше людей и территорий — отнюдь не от Гоголя и Достоевского берёт своё начало.



Среди барочных писателей инициатором, однако не единственным автором мифа о «трёх братских народах», которые должны «воссоединиться», был Симеон Полоцкий, придворный поэт и учитель детей царя Алексея Михайловича. Официальное утверждение сей миф получил в дни церковного собора 1666 г. Один из активных участников собора черниговский епископ Лазарь Баранович — учитель Симеона в бытность его в Киевской академии — аккурат к 1666 г. изготовил в типографии Киево-Печерской лавры «Меч духовный». Вот как описывает его современный книговед: «Гравированный заглавный лист сложной композиции; на обороте стихи, посвящённые царю Алексею Михайловичу; затем, на следующем листе, гравюра, также очень сложной композиции, с портретами, между прочим, царствующей семьи [...] на ветвях дерева, растущего на лежащем под ним князе Владимире» [BARANOVICĀ 1666]. Словом, духовность сего «Меча» следовало бы взять под сомнение, барочность же его сомнению не подлежит. Особое внимание обратим на то, что «дерево» Романовых растёт **прямо из киевского князя X века**. Тут стоит вспомнить, что

А Романовы династия молодая и в описываемый момент представлена всего лишь вторым поколением.

Б Отец царя Алексея — Михаил Романов — был назначен царём в 16-летнем возрасте, в силу политической целесообразности, а не личных заслуг или высокого происхождения. С киевским князем X в. он ни в каком родстве не состоял.

Таким образом, перед нами классический пример мистифицированной, искусственной, имперской нации, создаваемой чисто идеологическими средствами. В этом своём имперском виде русская нация возникла отнюдь не по воле «низов», т. е. тех самых «народов». Она была навязана «верхами» в XVII в., почти полностью потраченном на борьбу с имперской экспансией Речи Посполитой. При этом лишь в начале века речь шла о нормальном формировании нации в так наз. Смуту, когда и был получен решительный ответ нижегородских и всех примкнувших к ним «низов» на вопрос о её, русской нации, существовании, поставленный захватившими Москву поляками. А затем укрепившееся Московское царство, побеждая, по известной схеме, имперского дракона, само быстро драконизируется. Был, конечно, шанс по этой схеме не пойти, но царь Алексей, под влиянием своего «духовного» окружения, вообразил себя средневековым собирателем земель вроде Ивана Калиты.

А ведь можно было укреплять страну в её определившихся (после изгнания из Московского царства поляков и их союзников украинцев во главе с гетманом Сагайдачным) естественных границах, утверждая национальную идентичность «простых русских людей». Не тех, что были выдуманы Толстым, Достоевским,

Гоголем и маркизом де Кюстином. А тех, которые, вроде нижегородского купца Кузьмы Минина, в решающий момент пытались «снизу» создать русскую нацию. Будет ли дан таковым ещё один (и уж точно последний) шанс построить нацию на руинах теперь уже «их собственной» империи — нам покажет век XXI.

## Библиография:

- Aleksandr III.* (s. a.) In: Dostojevskij: Antologija žizni i tvorčestva. <[https://fedor-dostoevsky.ru/around/Aleksandr\\_III](https://fedor-dostoevsky.ru/around/Aleksandr_III)>. [online]. [cit. 16.10.2021].
- BARANOVIČ, L. (1666): *Meč duchovnyj*. Kijev. <<http://www.raruss.ru/slavonic/slav3/1627-lazar-baranovich-mech.html>>. [online]. [cit. 16.10.2021].
- CARRÉ J.–M. (s. a.): *Les Ardennes et leurs écrivains, Michelet et Taine, Verlaine et Rimbaud*. Charleville.
- CARRÉ J.–M. (1947): *Les Écrivains français et le mirage allemand. 1800–1940*. Paris.
- CUSTIN marquis de (1843): *La Russie en 1839*. Paris.
- DOSTOJEVSKIJ, F. M. (1957): *Sobranije sočinenij v 10 t. T. 8*. Leningrad.
- GOGOL', N. V. (1952): *Polnoje sobranije sočinenij i pisem v 14 t. T. 8*. Moskva.
- MANN, Ju. V. (2012): *Gogol'. Zaveršenije puti: 1845–1952*. Moskva.
- MARČENKO, O. V. (2012): *Pervyj russkij filosof i puti russkogo bogoslovija*. Litteraria humanitas XVI, 2012, s. 127–134.
- Perepiska N. V. Gogolja* (1988): Moskva.
- SKABIČEVSKIJ, A. M. (1897): *Istorija novejšej russkoj literatury 1842–1892*. Sankt-Peterburg.
- TOLSTOJ, L. N. (1984): *Sobranije sočinenij v 12 t. T. 6*. Moskva.
- ZVINJACKOVSKIJ, V. Ja. (1990): *Pasičnik Rudyj Pan'ko*. Russkaja reč', 1990, № 1, s. 133–139. Moskva.

## Summary

### The Russian Studies and the War against Russia: Carré Syndrome

*Les Écrivains français et le mirage allemand. 1800–1940* (1947) by Jean-Marie Carré was not just an emotional reaction of the French Germanist and Comparativist to the World War II, but a critical study of “the German Idea” in the context of 19th cent. cultural heritage beginning from *De l'Allemagne* (1810–1813) by m-me de Staël. The proposed article addresses “the Russian Idea” on the basis of Carré’s methodology. While Dostoyevsky’s links to “the Russian Idea” are generally acknowledged in cultural

historiography, detailed studies remain scarce. Especially enigmatic is the importance of being Russian in Dostoyevsky's interpretation. In this respect Gogol's *Selected Passages from Correspondence with friends* (1847) worth a closer look as a possible source and marquis de Custin's *La Russie en 1839* (1843) as a real origine of le mirage russe.

### About the author

**Vladimir Zvinyatskovsky**, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Slavonic Studies, Brno, Czech Republic; Mariupol State University, Faculty of Foreign Languages, Department of Applied Philology, Kyiv, Ukraine, [248157@mail.muni.cz](mailto:248157@mail.muni.cz)

